

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

День гнева

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156851

Аннотация

«...Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел, – я – Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.

Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины – ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами...»

Содержание

Песнь первая	5
1	5
2	7
3	8
4	9
5	10
6	11
7	12
8	14
9	15
10	16
11	17
12	18
13	19
Песнь вторая	20
1	20
2	21
3	22
4	24
5	25
6	26
7	27
8	28

9	30
10	31
11	32
12	33
13	34
14	36
15	37
16	38
17	39
18	40
19	41
20	42
21	43
22	44
23	45
24	46
25	47
26	48
27	49
28	50

Леонид Николаевич Андреев День гнева

Песнь первая

1

...Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел, – я – Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.

Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины – ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами.

– Если ухо заперто, то поищи другого входа, Джеронимо, – сказал я себе дружески; и думал, и искал, и

придумал, и нашел, потому что вовсе не глуп Джеро-
нимо. И вот что я нашел: я нашел камень. И вот что
я сделал: на камне я вырубил песню, его холодное
сердце разжег я ударами гнева. И когда камень ожил и
взглянул на меня горячими глазами гнева, я осторож-
но отнес его и положил на краю тюремной ограды.

Видишь ли, на что я рассчитываю? Я – умный, рас-
считываю, что скоро опять всколыхнет землю друже-
ский удар и снова разрушит ваш город; тогда повалят-
ся ограды, мой камень упадет вниз и раздробит голо-
ву тюремщику. Раздробив же, – на мягком, как воск,
серо-кровавом мозгу выдавит мою свободную песню,
втиснет ее, как королевскую печать, как новую запо-
ведь гнева... с тем и пойдет в могилу тюремщик.

Эй, тюремщик, не запирай уха! – Я пройду сквозь
твой череп.

2

Если я буду жив тогда, я буду смеяться от радости; если я буду мертв, мои кости запляшут в непрочной могиле. Вот-то будет веселая тарантелла!

Но разве ты можешь поклясться, что этого никогда не будет? – Еще раньше, тем же ударом выбросит на землю меня: мой гнилой гроб, мое скверное мясо, всего меня – мертвого, схороненного навеки, придавленного крепко. Ведь было же так в эти великие дни: расселась земля на кладбище, и выползли тихие гробы. Тихие гробы, незванные гости на пире.

3

Вот имена товарищей, с которыми я подружился в эти короткие часы: Паскале – профессор, Джузеппе, Пинчио, Альба. Их расстреляли солдаты. Был еще один молодой, услужливый и такой красивый, что жаль было смотреть; я его почитал за сына, а он уважал меня, как отца, но имени я его не знаю: не успел спросить, а может быть – позабыл. Его также расстреляли солдаты. Кажется, был еще один или два, также друзья... не помню. Когда расстреливали молодого, я не убежал далеко, я спрятался тут же, за разрушенной оградой, возле раздавленного кактуса. И все видел и слышал. А когда я уходил, раздавленный кактус впился в меня мертвой колючкой – ведь он же приставлен к ограде, чтобы не пускать воров. Какие хорошие слуги у богатых!

4

Их расстреляли солдаты. Запомни те имена, что я тебе назвал, а про остальных, у кого нет имени, просто подумай: их расстреляли. Но не вздумай крестить свой лоб, и еще того хуже: не закажи мессы – они этого не любили. Почти расстрелянных молчанием правды, а если захочется солгать, то солги как-нибудь веселее, но только не мессой: они этого не любили.

5

Этот первый удар, разрушивший тюрьму и город, имел голос необыкновенной силы и совсем особенной, нечеловеческой важности: он ревел снизу, из-под земли, был необъятен и глухо грозен; и все качалось и падало.

И еще не поняв, в чем дело, я уже знал, что все кончилось, может быть, кончилась вся земля. Но я не особенно испугался – чего же мне особенно пугаться, если даже кончилась вся земля? Он долго ревел, этот подземный, глухой трубач.

И вдруг вежливо раскрылась дверь.

6

Я сидел в тюрьме долго и безнадежно. Я уже пробовал бежать, но не мог. Да и ты не убежал бы, не думай: так славно была построена проклятая тюрьма!

И я привык к железу решеток и к камню стен, и они казались мне вечными, а тот, кто их построил, – самым сильным на свете. Даже не хотелось думать, справедлив ли он или нет, – так был он силен и вечен. Даже во сне я не видал свободы – не верил, не ждал, не чувствовал. И боялся звать. Свободу опасно звать: пока молчишь, еще можно жить; но если хоть раз, хоть самым тихим голосом позвал свободу, то нужно либо добыть ее, либо умереть. Это верно, – так говорит и профессор Паскале.

И вот так безнадежно сидел я в тюрьме, когда вдруг открылась дверь. Вежливо и сама; во всяком случае, не человеческая рука ее открыла.

В развалинах лежала улица, в ужасном беспорядке. Весь материал, из которого строят, вернулся назад и лежал, как вначале. Дома рассыпались – лопались – качались, как пьяные; садились на землю, на собственные раздавленные ноги. Иные мрачно бросались вниз, головой на мостовую – трах! Открылись ящики, в которых живут люди, такие славные, маленькие коробочки, оклеенные бумагой. Картинки еще висели на стенах, а людей уже не было; они вывалились, их выбросило, они лежали под камнями. И судорожно дергалась земля – дело в том, что вновь затрубил подземный трубач, глухой черт, которому все кажется мало от глухоты. Милый, старательный черт большого роста.

Ведь я же был свободен и не понимал этого: все еще не решался отойти от проклятой тюрьмы. Стоял и глупо глядел на развалины. И товарищи собрались тут же и тоже не уходили, толпились растерянно, как дети, около загулявшей, пьяной, упавшей на землю матери. Хороша мать! Вдруг Паскале профессор сказал:

– Посмотрите.

Одну стену, которую мы считали вечною, разорва-

ло пополам; и пополам разорвало окно и железную решетку. Скрутило железо, разорвало его, как гнилую тряпку, – железо, подумай! В моих руках оно даже не звенело, притворялось вечным, самым сильным, а теперь не стоило и плевка – железо, подумай!

Тут я и все остальные поняли, что мы свободны.

Свободны!

9

Тебе труднее согнуть соломинку, чем ему три железные рельса, положенные один на другой. Три или сто, ему все равно. Тебе труднее поднять и поднести к губам кружку с водою, нежели ему поднять целое море воды, взболтать его, поднять осадки и выплеснуть на землю; холодное заставить кипеть. Тебе труднее разгрызть кусок сахара, чем ему целую гору. Тебе труднее перервать тоненькую гнилую нитку, нежели ему три железных каната, сплетенных в косу. Ты запотеешь и станешь красный, прежде чем тебе удастся хоть немного расковырять палкой муравейник, – он одним толчком разрушил твой город. Он поднял железный пароход, как ты рукою маленький камень, и бросил его на берег, – ты видал такую силу?

10

Все, что было раскрыто, он закрыл; дверь твоего дома вросла в стены твоего дома, и вместе они удушили тебя: твои стены, твоя дверь, твой потолок. И он же раскрыл двери, тюрьмы, которые ты запер так тщательно. Ты, богатый, которого я ненавижу!

Если я соберу со всего света все добрые слова, какие есть у людей, нежные речи, звонкие песни и брошу их стайей в радостный воздух; Если я соберу все улыбки детей, смех женщин, еще никем не обиженных, ласки седых матерей, крепкое пожатие друга, — и сделаю нетленный венок на чью-то прекрасную голову;

Если я обойду всю землю и соберу все цветы, какие только есть на земле: в лесах, на полях и лугах, в садах богачей, в глубинах вод, на синем дне океана; если я соберу все драгоценные сверкающие камни, в глухих ущельях их добуду, во тьме глубоких рудников, выдерну их из королевских корон и ушей богачих — и все это, и камни и цветы, сложу в сверкающую гору;

Если я соберу все огни, какие горят во вселенной, все светлы, все лучи, все вспышки, взрывы и тихие сияния и заревом единого великого пожара озарю дрогнувшие миры; —

То и тогда еще не назову, не увенчаю, не восхваляю тебя — свобода!

Свобода!

Над моей головой было небо, а небо всегда свободно, открыто ветру и движению туч; под моими ногами была дорога, а дорога всегда свободна – она сделана для того, чтобы по ней ходили, передвигали ногами, подвигались вперед и назад, оставляли одно и находили другое. Дорога, видишь, возлюбленная того, кто свободен: ее нужно поцеловать при встрече и оплакать при прощании.

И когда мои ноги задвигались по дороге, – я подумал, что это совершилось чудо. Смотрю: и Паскале двигает ногами – профессор! Смотрю: и тот молодой перебирает молодыми ногами, торопится, пугается и вдруг бежит.

– Куда?

Но Паскале строго остановил меня:

– Не бросай в него вопросами: ты перебеешь ему ноги. Ведь мы стары с тобою, Джеронимо.

И заплакал. И вдруг снова затрубил глухой трубач.

Песнь вторая

1

Мы долго ходили по городу и видели много поразительного, необыкновенного и ужасного.

2

Огонь также нельзя запирасть, – это говорю я, Джеронимо Пасканья. Если хочешь быть спокоен, то потуши его совсем, но не запирай его ни в камень, ни в железо, ни в стекло – он убежит, когда с твоим крепким домом случится несчастье. Когда твой крепкий дом упадет и жизнь твоя погаснет, он один будет гореть, сохранит жар и жаркую красноту, всю силу пламени. Полежит немного на земле и даже притворится мертвым; потом поднимет голову на тонкой шее и посмотрит – направо и налево, назад и вперед, И прыгнет. И опять спрячется, и снова посмотрит, выпрямится, закинет голову, вдруг страшно потолстеет.

И уже не одна у него голова на тонкой шее, а тысячи. И уже не тихо ползет он, а бежит, шагает огромными шагами. То был он молчалив, а теперь поет, свистит, кричит, приказывает камню и железу, всех гонит с дороги! Вдруг начинает кружиться.

3

Мертвых людей мы видели больше, чем живых, и мертвые были спокойны: они не знали, что с ними случилось, и были спокойны. А что было с живыми? Подумай, какую смешную вещь сказал нам один сумасшедший, для которого также открылась дверь в эти великие дни грозного равенства.

Ты думаешь – он был удивлен? Нет. Он смотрел внимательно и благосклонно, и седая щетина на желтом лице дыбилась от гордой радости – словно он сам сделал все это. Я не люблю сумасшедших и хотел пройти мимо, но Паскале профессор остановил меня; и почтительно спросил гордеца:

– Чему вы радуетесь, синьор?

Паскале был человек совсем не маленького роста, но сумасшедший долго разыскивал его глазами, как в грудe песку заговорившую песчинку; наконец нашел. И, еле раздвигая губы, – так он был горд, – повторил вопрос: – Чему я радуюсь? Величаво обвел рукою и сказал:

– Вот это настоящий порядок. Мы так давно хотим порядка.

Это он называл порядком! Я рассмеялся; но тут подошел толстый, совсем бешеный монах, и стало еще

смешнее.

4

Они долго представляли нам среди развалин свою комедию, монах и сумасшедший, а мы сидели на камнях, смеялись и поощряли их, кричали «браво».

– Обман! Меня обманули! – орал толстый монах.

Он был такой жирный, что ты, наверное, никогда не видел таких, ужасно жирный. Противно было смотреть, как прыгал и трясся от злости и страха желтый жир его щек и круглого брюха.

– Вот это настоящий порядок! – хвалил сумасшедший, еле раздвигая губы.

– Обман! – орал монах.

И вдруг начал проклинать Бога – монах, подумай!

5



6

...Уверял нас всех, что Бог обманул его, и плакал. Клялся, как нечистый игрок в карты, что это плохая плата за его молитвы и веру. Топал ногами и ругался, как погонщик ослов, когда тот выходит из кабачка и вдруг видит, что все ослы разбежались.

И внезапно рассердился Паскале профессор. Попросил у меня нож и сказал монаху, который сел уже отдыхать после проклятий:

– Послушай! Вот сейчас я взрежу тебе брюхо, и если я найду там хоть кусочек цыпленка или каплю вина...

– А если не найдешь? – сердито спросил монах.

– Тогда мы причислим тебя к лику святых. Подержи-ка его за ноги, Джеронимо.

Монах испугался и ушел, бормоча:

– А я думал, что вы христиане. Кошунство! Кошунство!..

Сумасшедший же благосклонно смотрел ему вслед и хвалил:

– Вот это настоящий порядок. Мы долго ждали порядка.

7

И еще долго ходили мы по городу и видели много необыкновенного. Но был короток день, и ночь упала на землю так рано, как никогда; и у солдат, когда они расстреливали Паскале, горели факелы.

8

Когда Паскале уже поставили к стене, к ее уцелевшей части, и солдаты приподняли ружья, офицер спросил его:

– Вот ты сейчас умрешь; скажи – почему ты не боишься? Ведь это же страшно – то, что произошло, и все мы бледны от страха, а ты нет. Почему?

Паскале молчал: он ждал, что еще спросит офицер, чтобы сразу ответить на все.

– И откуда у тебя смелость: наклоняться и брать чужое теперь, когда люди от страха забыли о себе и даже о своих детях? И разве тебе не жаль женщин и детей, которые погибли? Мы видели кошек, которые сошли с ума от ужаса, а ты – человек. Сейчас я велю тебя расстрелять.

Это было хорошо сказано, но наш Паскале умел говорить не хуже. Теперь его расстреляли, он умер, но когда-нибудь, при воскресении всех мертвых, ты услышишь его речь – и ты заплачешь, если не иссякнут до тех пор твои слезы, человек!

Он сказал:

– Я беру чужое, потому что у меня нет своего. Я снял платье с мертвого, чтобы одеть свое живое тело, но вы увидели это и снова раздели меня; и вот голый

стою я под вашими ружьями. Стреляйте, солдаты!

Но офицер не позволил солдатам стрелять и попросил говорить дальше.

9

– Вот голый стою я перед вашими ружьями и не боюсь ничего, даже ваших ружей. А вы бледны от страха, и вы всего боитесь, даже ваших ружей, даже моего голого тела. Когда раздался удар, он разрушил и убил ваш город, ваше счастье, ваших детей и жен, – а мне он отворил тюрьму. Так чего же мне было бояться? На всей земле у меня нет своего. Я голый.

10

– И если бы разрушилась вся земля, и звери завывали бы от ужаса, и рыбы обрели голос от горя, и птицы попадали на землю от страха, то и тогда бы я не испугался. Для всех он разрушил бы землю, а для меня – он только отворил тюрьму. Так чего же мне бояться? Я голый.

– И если бы разрушилась вселенная, небо и ад, и ужас воцарился бы во всей бесконечности живых существ, то и тогда бы я не испугался. Для всех разрушена вселенная, а для меня – раскрылась тюрьма. Так чего же мне бояться? Я голый!

12

– И теперь, когда одним залпом ваших ружей вы сразу уничтожите для меня и землю и вселенную, – то и теперь я не боюсь. Для всех вас разрушится и упадет человеческое тело, а для меня – раскроется тюрьма. Стреляйте же, солдаты! Я голый.

Факелы пылали. Это был самый короткий день, какой я видел: ночь упала на землю так рано, как еще никогда.

– Теперь становись ты, – приказал офицер, когда упал Паскале профессор.

Это правда – меня ни в чем не поймали, и меня вовсе не следовало убивать. Но разве с ними можно спорить? И я стал. Но мне было жалко ночи – ты понимаешь, ночи. Здесь ее портили факелы и пожар, а там дальше, за факелами и пожаром, за развалинами и трупами, она стояла такая же крепкая, твердая, темная, как в моей молодости. Я люблю ночь, тогда я не вижу себя и могу думать все, что хочу. День касается только моей одежды, но дальше не идет, натывается на темноту тела и слепнет; а ночь доходит до самого сердца – и оттого ночью так хорошо любить, это всякий тебе скажет. Мне бы только один час побыть среди настоящей, хорошей, темной ночи, не больше. Но разве с ними можно спорить? И я стал.

Но любить хорошо и днем, когда горит солнце. Любовь, видишь ли, как ночь, и тоже доходит до сердца; и в любви также не видишь себя, как и в ночи. А если при этом ты будешь смотреть в глаза – прямо в чер-

ные глаза – и будешь смотреть, не отрываясь...

Вдруг офицер рассердился за что-то на солдат и крикнул мне:

– Убирайся!

14

Прошел еще один день. И в этот день солдаты расстреляли того молоденького, который называл меня отцом.

15

Наступила ночь, – и я ушел из города мертвых.

16

– Dies irae¹ – день гнева, день мести и грозной расплаты, день Ужаса и Смерти.

¹ День гнева (*лат.*).

...Эта процессия, которую я видел из-за стены, имела вид необыкновенный и страшный. Они несли статуи своих святых, но не знали, поднять ли их еще выше или ударить о землю, осколки растоптать ногами. Одни еще проклинали, когда другие уже молились, но шли все вместе, дети одного отца и одной матери – Ужаса и Смерти. Прыгали через трещины и падали в провалы. И как пьяные шатались святые.

– *Dies irae*... Кто пел, кто плакал, а кто и смеялся; выли, как сумасшедшие. Размахивали руками, и все торопились. Бежали толстые монахи. От кого они бежали? – за ними по дороге было пусто; кротко грелись на солнце развалины, и огонь уходил в землю, дымился устало.

18

От кого они бежали? – позади их было пусто.

Только коснешься дерева рукою, а уже падает зрелый апельсин... один, другой, третий. Будет славный урожай. Хороший апельсин – как маленькое солнце, и когда их много, то хочется улыбаться, словно в солнечный день. И листья так темны, как ночь позади солнца, – нет, они зеленые, они темно-зеленые. Зачем говорить неправду, Джеронимо? Они зеленые.

Но как осторожен глухой черт, подземный трубач, которому все мало кажется от глухоты: город разрушил, а апельсин оставил висеть на ветке и ждать Джеронимо. Только коснешься рукою ствола, а уже падает зрелый апельсин... один, другой, третий. Их морем повезут в далекие страны. И в тех далеких странах, где холод и туманы, на них будут смотреть люди и думать: вот какое бывает солнце.

20

Паскале профессор – мы звали его так: il professore потому что он был мудр, умел сочинять стихи и обо всем говорил благородно. Он умер.

21

Отчего мне становится страшно, я иду все быстрее? Там мне не было страшно.

Я и не знал, что мои ноги так любят ходить. Они любят каждый свой шаг, и с каждым шагом расстаются печально, хотели бы обернуться назад; и так ненасытны они, что самая длинная дорога кажется короткой, самая широкая – узкою. Им жалко – подумай! – что они не могут шагать сразу: назад и вперед, направо и налево. Если бы им дать волю, они всю землю покрыли бы следами, не оставили кусочка; и еще искали бы нового.

И вот еще чего я не знал: я не знал про мои глаза, что они умеют дышать.

Далеко видно море.

23

Что еще рассказать тебе? Меня схватили жандармы.

24

Снова ты запер двери моей тюрьмы, человек. Когда ты успел построить ее? – еще в развалинах лежит твой дом, еще кости твоих детей не обнажились на могиле, а ты уже стучишь молотком, склеиваешь цементом послушный камень, протягиваешь перед лицом покорное железо. Как ты скоро строишь тюрьмы, человек!

Еще твои церкви в развалинах, а тюрьма уже готова.

Еще твои руки трясутся от страха, а уже хватаются за ключ, звенят замком, запирают. Ты музыкант: при звоне золота тебе необходим и звон кандалов, – пусть это будет бас.

Еще стоит мертвечина в твоём бледном носу, а ты вынюхиваешь что-то, быстро ворочаешь носом. Как ты скоро строишь тюрьмы, человек!

25

Даже не звенит железо – так оно сильно; и холодно на ощупь, как чье-то ледяное сердце. Молчит и камень стен – так он горд, предвечен и могуч; и холоден на ощупь, как чья-то ледяная мысль. В назначенный час приходит тюремщик и бросает мне корм, как дикому зверю. А я скалю зубы – отчего мне не скалить зубы? Я голоден и гол. И бьют заведенные часы.

Ты доволен, господин мой, человек?

26

Но я не верю в твою тюрьму, господин мой, человек.
Но я не верю в твое железо, – не верю в твой камень
– в твою силу, господин мой, человек. То, что я видел
разрушенным, вновь не срастется никогда.

Так сказал бы и Паскале профессор.

Заводи часы – они хорошо показывают время, пока не станут. Звени ключами – ведь и самый рай ты запер на ключ. Звени ключами и запирай – они хорошо запирают, пока есть дверь. И осторожно ходи кругом.

И когда станет тихо, ты скажешь: теперь хорошо, теперь совсем тихо, – и ляжешь спать. Теперь совсем тихо, скажешь ты, и я слышу, как он грызет железо зубами, но железо крепче – скажешь ты и ляжешь спать. И когда ты уснешь, сжимая ключи счастливою рукою, – вдруг заревет подземный трубач, грохотом разбудит тебя, силою ужаса поднимет, крепкою рукою поставит: чтобы ты видел смерть, умирая. Широко, как день, разверзнутся твои глаза – их раздерет ужас; и у твоего сердца вырастут уши – чтобы ты слышал смерть, умирая.

И остановятся часы.

Свобода!

1910 г.